

# Альбом с корицей

Берлинский театр «Креатур». «Лавки с корицей» по повести Бруно Шульца. Инсценировка, авторский замысел, постановка, декорации и костюмы Анджея Ворона. Музыка Януша Стоклозы

Марина Григорьева

Польского писателя Бруно Шульца убили на улице оккупированного немцами Дрогобыча в 1942 году. Эсэсовец, увидев еврея, подошел и выстрелил ему прямо в голову. Повесть Шульца (кстати, недавно у нас изданная) написана в 1934 году. Спектакль берлинского театра «Креатур» по этой повести поставлен в 1990-м поляком Анджеем Вороном, и в нем нет даже намека на будущую войну. Старейший мужчина в поношенном костюме всего лишь рассматривает семейный альбом. Но каким-то странным, неуловимым образом знание о трагической гибели Шульца с самого начала касается его нелепой и как будто извиняющейся за что-то фигуры, окутывает мрачно-нежным туманом оживающие в воспоминании страницы альбома, трещиной врывается в ритм.

Бруно Шульц написал повесть без сюжета. Она состоит из коротких новелл — так, фрагменты, клочки памяти. Самой нематериальной вещи в мире, воспоминанию, Анджей Ворон дал театральную форму, причем форму жесткую, резкую, на грани гротеска.

Конечно, спектакль шел на немецком языке. Он мог идти на польском, на идиш, на любом другом языке, включая птичий. От этого ничего бы не изменилось. Слова — не самое нужное, когда дело доходит до фотографий в старом альбоме. До взгляда в столб внезапно закружившейся пыли. До янтарного лучика, упершегося в грудь хлама, пригвоздив его для удобства созерцания к полу. Не так ли накальвают диковинную бабочку, и ее крылышки в бархатистой пыли трепещут и бьются, пока смешное насекомое не поймет бессмысленность протеста. Пришпилить необходимо, чтобы рассмотреть. Или для коллекции.

В коллекцию воспоминаний немецкого спектакля входит все, что не может быть зафиксировано в альбоме или приколото булавкой, но что остается с человеком навсегда, если, конечно, он сам остается человеком, — не предметы, а тени; не вкус, а запах; не лицо, а гримаса; не речь, а отзвук. Воспоминание автора — неровное, судорожное — летит по своим таинственным законам, и подробности утяжеляют его, останавливают. Подробности и есть те булавки, гвозди, пули, которые намертво прикрепляют экземпляры к поверхности. Незавершенность, нерассмотренность, неразгаданность — залог вечного существования. Игла — не из арсенала Шульца и Ворона. Их инструмент — томный, сладостный поток коричневого аромата, гвоздичного масла, ванильной пудры. Анестезия посильнее хлороформа. Видения ярче кокаиновых.

Бруно Шульц, листая альбом, не хочет рассматривать. Воспоминание пришло к нему как наваждение, морок, кошмар. Прошлое преследует его, выплывая из темноты резкими, жутковатыми картинками. В коричневых лавках Дрогобыча торговали не корицей — антикварным хламом, завезенным невесть откуда. Анджей Ворон превратил их в лавки старьевщиков, чей товар, как после погрома, рассыпан по улицам, врос в землю, стал лопухами, капустой, травой. Не проросшее, не усвоенное землей взято напрокат людьми, замирающими и оживающими на сцене. У них



АЛЕКСАНДР ИВАНИШИН

ярко раскрашены лица, а движения быстрые и механические, как на старой киноленте, пущенной с другой скоростью.

Первой на этом пепелище призраков встает городская дурочка, общедоступная красавица Тлуж: из зеленой груди долго торчат только ее ноги в рваных чулках цвета перезрелой вишни. В полуразвалившемся сортире сидит Якоб Шульц, отец, и пускает в окошечко белых бумажных голубей, которых мальчик в матросском костюмчике ловит сачком для бабочек. Горничная Аделя задирает юбку, и из-под белоснежного передника появляется и замирает в сладострастном изгибе нога. Это все, что осталось в памяти мальчика. Лишь фрагмент Адели.

Вызываемые на короткие мгновения к жизни креатуры памяти могут не иметь какой-то части тела, половины лица, а могут, наоборот, раздвоиться, обрести двойника, превратиться в манекен. И все это кричит, танцует, вращается, перетекает одно в другое, замирает и снова оживает. Взрослый Шульц в мистическом карнавале не участвует, он лишь вглядывается, осторожно подсматривает, как, наверное, подсматривал мальчик в матроске в щели деревянной купальни за волнующей воображение женщиной.

Смешной офицер с нафабранными вильгельмовскими усами выкатил гремющую тележку, на которой среди железок оказался спрятан фотоаппарат. Вся

пестрая компания с обреченной готовностью выстроилась для семейного снимка, аппарат щелкнул, и вот она — игла, пуля и т. д., вот оно — завершение, означающее смерть. Бруно Шульц напрасно рвет фотографию, напрасно дает им, замершим в мертвенно-синеватом свете, по кусочку мацы. Мы слышим хруст, значит, люди еще живы, но все, что будет дальше, станет лишь затянувшимся прощанием.

Спектакль, этот театральный «Амаркорд», длящийся всего семьдесят минут, как старая заезженная пластинка, никак не хочет кончаться. Шульц мучительно долго пытается удержать в памяти то, что уже умерло. Несколько раз повторится одна и та же сцена, в праздничном прощании пройдут по кругу — раз, другой, третий — все персонажи, он попытается опутать их цветными, яркими лентами, но все напрасно. Распавшийся на две половинки (точь-в-точь разорванная фотография) станок со всем своим убогим хламом медленно отплывает в темноту небытия. Никак не хотят уходить двое — старейший мужчина в поношенном костюме и мальчик в матроске. В медленно угасающем желтом луче, под какую-то дерганую музыку они длят и длят свой странный танец. Но в конце концов луч угаснет, и сцена окончательно погрузится в темноту. В зале, однако, останется осязаемый запах корицы.